

СЛОВО ОБ АВТОРЕ.

ДЕТИ ОТТЕПЕЛИ.

**(Рассказ о судьбе молодых людей,
которые задумались раньше времени)**

Ровно двадцать лет назад, поздним летом и осенью 1969 года, в старом поволжском городе, к имени которого в свое время поэт навечно прилепил противное словечко "глушь" — словом, в Саратове была произведена серия хорошо подготовленных арестов. Не все теперь помнят это событие, потому что далеко не все и знали. Но что не помнят отдельные люди, то все-таки помнит молва. Вот и здесь, в консерваторско-университетском областном центре, молва жива. С течением времени она, правда, отсеяла как имена, так и несущественные (для молвы же) подробности и теперь в кристаллизованном виде преподносит ту беду так: "Студенты собирались и изучали Ленина и были за это посажены как антисоветчики". Звучит более чем нелепо. Но ведь что-то за этим было? Было. А если было, то и должно быть обнародовано как часть отечественной истории.

Заранее прошу прощения у читателей за то, что буду опираться в своем рассказе в основном лишь на личные впечатления от бесед с отсидевшими, поскольку "дело", хранящееся в архиве госбезопасности, не было мне показано по соображениям гостайны даже после официального запроса редакции. Из всех документов я

располагаю лишь копией приговора — да ведь и там много сказано. Этой пачки машинописных листов с лихвой хватило бывшим студентам, бывшим пяти комсомольцам Олегу Сенину, Виктору Боброву, Александру Романову, Дмитрию Куликову, Михаилу Фокееву и бывшему коммунисту Валентину Кирикову для того, чтобы "получить срока" от трех лет лишения свободы (Фокееву) до семи лишения и двух ссылки (Сенину). Копию приговора хранит, кажется, каждый из группы. Теперь, с течением времени и в основном благодаря перестройке, сей желтеющий документ из судебного постепенно превращается в исторический.

Началось обыкновенно — с книг. Причем с обыкновенных же, которые в любой библиотеке у нас даже стоят в открытом доступе: читай — не хочу. О, они очень хотели читать Ленина! И очень хотели, чтобы его читали другие. Олег Сенин, отличник из отличников в Саратовском юридическом институте, все приставал к мало-мальски неординарным, способным мыслить сокурсникам: читайте, читайте Ленина, причем внимательно. Впрочем, послушаем его тогдашнего единомышленника Валентина Кирикова:

"Сенин был в институте человеком заметным, хотя к этому особо и не стремился. Но вставал каждый день в шесть утра, принимал холодный душ (старался подражать Рахметову) и каждый день безвылазно сидел в библиотеке. Он прочитал всего Маркса, все 55 томов Ленина, Поля Лафарга, Карла Каутского, всю библиотеку общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, произведения

декабристов. Он, Сенин, на том этапе был супермарксистом. Судьи после поражались, как он цитировал Ленина, Маркса, Энгельса: том, страница, абзац - проверяли ведь".

..."Группа революционного коммунизма" — так стали называть себя объединившиеся молодые люди — к Ленину никаких претензий не предъявляла, ведь они хорошо знали все его произведения, его открытия и заблуждения, ход его мыслей. Они к окружающей жизни примеряли ленинские идеи, и, оказывалось, что "кремлевский мечтатель" при всей гениальности его мозга не мог предвидеть такого развития революции, партии, идеологии.

Разбуженная мысль искала дня, расцвета, жизни, борьбы, противников, товарищей. Искала поддержки или возражения. Но где бы они взяли нечто современное, и острое, и жизненное, кроме как в подполье? В подполье и взяли.

Далее можно подряд цитировать приговор. Нет, вы не найдете здесь имен Маркса и Ленина, "Группа революционного коммунизма" от произведений классиков легко перешла к произведениям диссидентов (хотя такого слова в политическом словаре конца 60-х, по-моему, еще не было). Упоминается в приговоре и "политически вредная нелегальная литература" такого сорта: письмо Федора Раскольникова Сталину, письмо Солженицына к Съезду советских писателей, выступления А. Синявского и Ю. Даниэля на суде. Изучали, перепечатывали, распространяли. Писали сами - о сталинизме, например; конспирировались: у каждого, чтоб подписаться под

собственной нелегальной статьей, был псевдоним, а на улице, чтобы углядеть слежку, они завязывали шнурки на ботинках согласно вечной методике многообразного отечественного подполья.

Когда в августе 68-го года были введены в Чехословакию войска стран Варшавского Договора, члены группы отнюдь не поддерживали эту акцию.

...Огромная и скрупулезная работа борьбы с "мыслепреступниками" была, наконец, завершена. 16 января 1970 года судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда вынесла свой приговор. В 70-м году — по 70-й статье, в годовщину столетнего юбилея Ленина осудили и отправили в "столыпинских" вагонах группу поистине верных ленинцев в Мордовию, в Дубравлаг, включавший в себя пять режимных зон для особо опасных государственных преступников... С тех пор прошло два долгих десятилетия, насыщенных, казалось бы, невозможными для страны переменами. И вот я по заданию редакции отправилась из столицы в недалекую Тулу.

...Хорошее у нас нынешним годом бабье лето выдалось - пушкинское, тютчевское, ласковое, хрустальное... Ах, как хотелось и среди людей найти эдакое-то благолепие, а то настолько уж надоела злая грызня в электричке, в автобусе, магазинах, да и по телевизору. И мне, не поверите, удалось. Словом, Тула. После стандартного пятиэтажного центра с вознесенной над площадью кубической, некоей даже ацтекской громадой обкома партии окраинные улицы кажутся замечательно красивыми. Вот и эта хороша. Дорога под

горку приводит к речке, за ней зеленая луговая даль. Сады. Палисадники в цветах. Золотая осень. Нежное солнце. Звоню. Калитку в воротах открывает веселый, спортивного облика, мужчина, правда, в сильных очках.

Здороваюсь и с удивлением спрашиваю:

— Олег Михайлович Сенин?

— Да. Проходите, пожалуйста.

Господи, как же я ошибалась. Думала, встречу изможденного, сурового мученика в хибаре. А тут... Прелестная жена Катюша, филолог. Дети есть. Радостное общение. Чистота и порядок. Книги, очень много книг. Магнитофоны. Но во всем: в речи, в самом построении фраз, в улыбках этой семьи - что-то неуловимо необычное.

Технику здесь держат, кстати, не для развлечения, а для работы. Олег Михайлович преподает, а поскольку у него очень слабое зрение, то читать ему нельзя, и он слушает записанное на пленку или ему читает жена.

Имя Сенина читателю уже знакомо — да, это о нем друзья юности говорили: супермарксист. Теперь уже бывший. И зрение, и страстный интерес к марксизму потерял Олег в Дубравлаге. Конечно, глаза его достаточно потрудились в молодости над книгами, но добились их рукавички, которые шила бригада в лагере.

— Кто-то мне сказал: за что вас сажали — за это теперь медаль дают, — кротко улыбнулся Олег Михайлович.

— Кроме тех, кто упомянут в приговоре, кто-то был еще? Солженицын, например?

— Да, Александр Исаевич имел отношение к нашему процессу, но не прямое: его воззрения в ту пору, которые он определил как православные, не совпадали с неомарксизмом, который исповедовали мы.

— Как вы относитесь к идее реабилитации вашей группы?

— Мне как-то писал об этом Александр Романов, но я остался глух. Зачем? У нас были благие, чистые устремления. Мы не искали своей выгоды. Мы, безусловно, понимали, что аплодировать нашим взглядам не будут, ожидали ареста, суда, но не таких, конечно, сроков. Справедливости ради скажу, что следователи КГБ вели себя деликатно, никаких негативных воспоминаний о допросах у меня нет. Мы сознательно пошли на раскаяние. Но не могу не сказать о судьбе — о Теплове. Это был средневековый процесс! Теплов когтил и свидетелей, и родителей, и нас. Мне дали на полную катушку. Правда, вышел я уже через пять лет.

— Глазами веры я вижу теперь, что во всем случившемся был перст Божий, — посерьезнел Сенин. — Надо вам сказать, что в лагере многие люди, начинавшие с увлечения социалистическими идеями, полярно изменили свои убеждения. Русские ушли в Православие, евреи — в сионизм, украинцы — в национализм. Там я познакомился с русской религиозной философией. А сколько выписывал разной литературы! Прибавьте сюда условия физических страданий, разлуку с близкими... Так я пришел к Богу.

— Так или иначе, я нашел себя в жизни, — заключил Олег Михайлович. — Мой опыт обратился в драгоценный

камень новой жизненной позиции, которая приносит мне чувство наполненности, служения людям. То, что я искал в марксизме, я нашел в христианстве. Раньше ратовал за политические методы борьбы, теперь признаю только любовь. Любовь к ближнему, любовь ко всему сущему..

*Из статьи Татьяны Корсаковой "Дети Оттепели"
("Комсомольская правда", 13 октября 1989)*

СЛОВО АВТОРА

I. ИСПОВЕДЬ УМА И СЕРДЦА.

Поэзия была и остается для меня сладостной и мучительной попыткой выразить то невыразимое, захлестывающее душу, что составляет восторг и муку бытия. Стихи обычно выдают с головой все затаенное, сугубо интимное, добытое сокровенным трудом ума и сердца. Истинная поэзия всегда изумляет безоглядной искренностью, готовностью на самую откровенную исповедь. Благодаря этому она собирает вокруг себя всех тех, как бы мало их не было, в ком житейская заземленность не вытеснила способности к детскому удивлению и трепетный отклик на все, отмеченное красотой и страданием. К ним я и обращаю свое слово о хрустально-хрупкой жизни нашей, о возносящей вере в Бога, о тихой радости при взгляде на красоту земную.

В начале октября 1969 года меня доставили этапом из рязанской следственной тюрьмы в саратовскую. Конвой, высадив нас из "столыпина", приказал нам, сбитым в тесную кучу, усесться на наши тощие котомки. Там, на запасных путях, уже дожидаясь под дулами автоматов запаздывающих "воронков", уже попривыкший за два месяца к жестокому оскалу арестантской жизни, я затаенно радовался солнечной осенней теплыни, непривычному после тесноты камеры простору и, больше всего, успокаивающей голубизне ненаглядного моего неба...

Осень в том году стояла сухая, солнечная. На отлогих скатах гор, возвышавшихся над городом, неровными клиньями пестрели перелески. Помнится, я часами не отходил от зарешеченного окошка и, оставляя за спиной тоскливое удушье каменного мешка, неотрывно ласкал взглядом благодатную красоту редкостно теплой осени. Из форточки, как от куста хризантем, тянуло головокружительными запахами октября, прошлого счастья, неутихающей болью разлуки. Вот там-то, у тюремного окна с запечатленной в нем полнотой недоступной жизни ко мне, как легкокрылое откровение, пришло ощущение, что умереть легче всего осенью. И как-то сами собой с души на бумагу легли непридуманные строки:

+++

Может, все, и не пройду,
Пошатнусь и упаду,
Подомну траву сухую,

Стебли телом поцелую
И в последней из страниц
Прочерчу строку живую
Взором мертвых роговиц.

После приговора суда меня, как это было заведено, "спустили" в полуподвальную камеру, где на окне мрачно тяжелел "намордник" из подслеповатых жалюзи. Света было так мало, что день и ночь горела запыленная лампочка. Единственной усладой было, подтянувшись вплотную к окну, сквозь диагональные скосы железной завесы любоваться узкой полоской неба, которая почти вся скрадывалась высоченной тюремной стеной из белесого силикатного кирпича.

И вот, помню, где-то в конце марта так стоял я, слушая частый и радостный стук капли, восторженное чириканье воробьев, вдыхая тянувший в форточку запах мокрого асфальта, - как вдруг из молчавшего до сих пор радиоприемника мне в спину ударил проливень фортепианной музыки. Она возникла разом и неожиданно, но эти все наполняющие звуки как бы вторили моей радости и боли от наступившей, но недостижимой весны. В ней, как и во мне, сквозь надрыв скорби и безысходности торжествующим сиянием капли заявляла о себе неубиваемая жажда жизни и бессмертия.

Когда звуки оборвались, диктор сообщил, что прозвучавший 12-й этюд Шопена был написан им после разгрома польского восстания 1830 г.

+++

Не помню про начало,
Но, вздрогнувши, на миг
Я ощутил плечами
Восстаний гулкий крик.

И сразу по суровости
Чеканных желваков
Героев белой костью
Скользнула дрожь веков.

Огнем из-под кресала,
Торжественно и чисто,
От звуков засверкало
Тех звонких дней монисто.

Крошилась сталь от драки,
И падали поводья.
Восставшие поляки
Рубились за свободу.

Распластанные руки
Белели по бурьянам.
Разгневанною мукой
Стонало фортепьяно.

+++

В самом конце декабря 1988 года я узнал о скоропостижной смерти моего лагерного товарища, златоуста и добряка, Вячеслава Петрова. Когда мне случалось бывать в Питере, то я непременно заходил к нему в однокомнатную квартирку на Заневском, где он жил со своей полупарализованной старушкой-матерью. Над его письменным столом висел, любовно помещенный в резную рамочку, портрет последнего русского государя с четырьмя его дочерьми и малолетним наследником, совсем еще мальчиком, царевичем Алексеем.

Всякий раз я снимал фотографию и, близоруко поднеся ее к глазам, подолгу рассматривал эти, по-человечески обычные, но в то же время волнующие своей царственной значимостью лица. Среди четырех сестер выделялась и притягивала к себе смешливым выражением своего личика младшая - Анастасия. В то время как старшие сестры, сознавая ответственность момента, держат себя перед фотокамерой с подобающим достоинством, Анастасия, девочка-подросток, вся так и светится своей шаловливой милой непосредственностью. И вся она, юная, едва начавшая цвести таинственной красотой девичества, являла невозможность той изуверски страшной расправы, на которую поднялась безбожная рука детоубийц.

И вот теперь, когда не стало Вячеслава, несказанно одаренная натура которого была загублена все той же зло насаждающей рукой, эти две смерти соединились в поэтическом сопряжении в неутешное чувство утраты.

ИНФАНТА

*Анастасии Романовой
посвящается*

Опять мой флюгер повернул на север,
Где Ладога синеется в лесах,
Где ленинградских улиц серый веер
Скрывает прошлого дела и словеса.
 Знамен суворовских обтрепанные канты,
 Салонов утопический бальзам
 Соседают там с тоненькой инфантой,
 Чей детский лик стоит в моих глазах.
Ее с утра рисуют гобелены
То грустной, то восторженно-парящей,
Пред ней пажей склоняются колена
И ловят губы шелк ее летящий.
 Перед дворцом - Невы свинцовой воды,
 По залам - изразцовый жар голландок,
 За Петропавловкой - кровавые разводы
 И гул глухой проснувшегося ада.
Княжна, инфанта, мотылек дворцовый,
Не замирай, не прерывай круженья,
Шали, печалься, куксись, пританцовывай
И избежи холопьяго глумленья!
 Но всем Васильеостровским линиям
 Не зачеркнуть той жуткой были.
 Ты пребываешь самой дивной лилией,
 Что по Фонтанке жертвенно проплыли.

+++

Год тому назад вдруг стали отказывать голосовые связки. Как-то пытался лечить их, но ничего не помогало, — даже после нескольких минут разговора ощущалось голосовое утомление. Когда обратился к врачу, то услышал жутковатое: "У Вас на правой голосовой связке опухоль, будем надеяться, что доброкачественная. К сожалению, лечению фиброма не поддается, советую Вам оперироваться и не затягивать с этим делом..."

С этой минуты, поразившей непреходящим испугом, начался какой-то совсем иной отсчет моего времени. То неизбежное, но и нереальное в своей отдаленности, теперь вдруг объявилось устрашающим убыванием времени жизни моей на этом белом свете. И вместе с ознобным ощущением школярской неготовности умереть, одновременно с заставшей врасплох вестью о роковой неизбежности скорого конца, запахом ночи и снега обдавала разгоряченное лицо многократно умноженная радость бытия.

+++

Обрывается линия жизни -
Той единственной, богоданной,
Так впервые и так неожиданно,
Как потемочный проблеск кинжальный.

И становится все вертикальной
В цепенеющем, жутком крене

Недопитая в чаше хрустальной
Слезно - сладкая влага мгновений.

За окном - февраля бушевань
В ореоле жемчужных метелей
Зубы стиснутым очарованьем
Поднимает со смертной постели.

Но часы уготованных сроков
Бьют загадочно и вразнобой;
И невыученным уроком
Предваряется вечный покой.

В эковской жизни, помимо всех тягот заключения, самым страшным, безнадежно непреодолимым было чувство неотвратимости уготованного приговором срока. Сейчас невозможно выразить ту душевную жуть, которая подступала всякий раз после сигнала подъема, когда обыденно, обреченно и тягостно в осенние сутемки или летнюю рассветную явь душила мысль: "И так будет всякий раз еще четыре тысячи утр!"

Когда все это неизъяснимое для других инобытие осталось позади, уже на воле стали беспокоить и тяготить душу навязчивые и жуткие лагерные сны. В их неотразимой яви снова и снова я должен был начинать свой семилетний срок с сознанием его роковой неотвратимости.

И вот однажды в полуночной изматывающей одноликости снов вдруг пришло совершенно чуждое мне по жизни, но прожигающее душу, видение.

+++

Опять во сне мерещится облава,
Опять мне жутко, я вжимаюсь в стену,
Мне ходу нет ни прямо, ни направо, -
Рывком на левой я вскрываю вену ...

Стена шатнулась, спину отпуская,
В глазах крестами огненными метит,
Я в темный погреб тихо оползаю,
И мама милая фонариком мне светит.
Закрыто дело - я за все ответил!
А то, что будет, пусть придет с повинной
К той женщине, чей льноволосый пепел
Усыпал путь мне в райскую долину.

II. ПОД НИЗКИМ НЕБОМ РОДИНЫ МОЕЙ

Деревня, где я рос, была окружена полукольцом лиственного леса. Прохладные трепетные осинники соседствовали с просторными светлыми дубравами. В мае в сырых еще от полой воды лощинах бушевала черемуха. Чистые пруды, удерживаемые в лесных оврагах надежными земляными плотинами, дарили нам, ребятишкам, радости купания и катания на коньках. По осени багрянец и охра диковинным произволом пятнали всю эту завораживающую глаз красоту.

Из далекого моего детства я и вынес то, не оставляющее меня и донныне, восхищение красотой предопределенного мне рождением природного лона и благоговейное бережение ко всему живому.

Много лет спустя, когда я прочел у апостола Павла, что невидимый для нас Бог открывается через созерцание природной красоты, я понял, что в Бога я веровал уже тогда, в детстве.

ОСЕННЯЯ ЗЕМЛЯ

Последние листья, познавши одиночество
На утонченной наготе ветвей,
Взирают грустно на упадок зодчества, -
Удел безрадостный всех поздних октябрей.

Земля соцветий, уступив из робости
Канунам и итогам плодородия,
Имеет вид торжественной суровости,

Столь неразлучный с моей скорбной Родиной.

И только солнце, вечно осиянное,
В своем порыве всех дарить надеждой,
Пророчит ей обновы сребротканые
И белизну, невиданную прежде.

+++

Мои хризантемы дожили до снега,
До белого праздника холода.
И грустно мне видеть, как нежно и молодо
Соседствует альфа с омегой.

Как сразу, зеленым и белым,
Легла годовая черта,
И смертных цветов красота
Последнее чудо соделала.

+++

Зима, цепenea снегами,
Немея январскою стужей,
Незримо, свето и загадочно
Весне неминуемо служит.

Длинней, просветленнее дни,
Цыган продает свою шубу,

Темней проступает родник
У старого зимнего дуба.

По небу белесая синь
Творит непогоде дорогу;
Метельных затиший теплынь
Капелям спешит на подмогу.

+++

Еще березы берегут
Последний снег подножий,
А южный поезд, набегу,
От радости неосторожно
Им разглашает тайны марта
О скором торжестве теплыни,
О том, что бита стужи карта
И что черед за благостыней
Шмелей, черемух, разнотравья
И акварелей в майской раме.

ГОРЫ

Извечная неподвижность, чистота
Вершины убеляющих снегов,
А в гиацинтах неба излита
К свободе духа тяга и любовь.

Тян-Шанских елей стройные заставы
Красуются на крутизне отвалов,
Как чудом к нам дошедшие октавы
Небесных незапамятных хоралов.

Безумных речек пенная вода
Змеится по низам ущелий,
Здесь первозданно хороша звезда
И темен смысл бессмертных суеверий.

В детстве, совсем еще мальчиком, меня временами охватывало чувство, казалось бы, беспричинной тоски. Неотвратимые сумерки, холодная роса на траве, чувство одиночества, неприкаянной затерянности в предвечернем тускнеющем пространстве заставляли меня искать тепла и света. Я знал, к кому и в какую сторону мне нужно бежать, знал, что уже дорогой снизойдет на меня желанное утешение. И я, босоногий, в застиранных сатиновых штанишках, бежал через овраг к дому бабашки и дедушки, жившим в дубовом лесу при пасеке: страх и сырой холод, наполнявшие овраг, превозмогались и как бы утрачивали свою силу, когда я припускал по тропке в гору и уже знал, что совсем скоро покажется домик с заваленкой, с бузиной

под окнами, с невыразимо влекущими запахами жилья, бабушкиного фартука и старых дедушкиных книг. Спасение мое было там, в уюте скудного быта, в ласковом светлом круге на потолке от керосиновой лампы, среди этой обнадеживающей сопричастности малого сего к Богу и вечности.

И доньше при всяком изломе беспокойной своей жизни плачущим мальчиком я бегу к Господнему теплу и покою, которым дарит нас память, родные места и самые близкие люди.

+++

Кто в скорбной нежности нас всех теплом дарит,
Кем отогреты рученьки дрожащие?
Как слезы радости, слова моих молитв,
Во благодати твоей ответы находящие.

Кому обязан я преумноженьем смыслов,
Чей свет для гордых душ неуловим?
Бессильны формулы, замеры, числа
Постигнуть тайну жертвенной любви.

Кого, растроганному, мне благодарить
За сад осенний, облетающий,
За небо, не уставшее дарить
Сочувствием своим все понимающим?..

Господь мой, бессмертный и крепкий!
Встающий в заставах сосновых боров,

Светящийся золотом сколотой щепки,
Влекущий созвучьем колоколов!

К Тебе в окаянстве своем притекаю,
Во храм принося покаяния грусть.
И, благодатно светел, смотрю не мигая
На лик, осенивший крещеную Русь.

+++

Мечтательной зимой очаровался город,
Касаньем сумерек утешены дома,
Покорно убралась дневная кутерьма
В согретые теплом людские норы.

Над скопищем огней, дерев, порталов,
Над хрупкостью неисчислимых жизней
Вселенский колокол беззвучно виснет,
Растроганно следя полет снежинки малой.

III. О РУСЬ МОЯ!..

Из всех бесчисленных утрат, которые мы понесли как нация, теперь мы более всего казним себя за утрату веры в Бога и за потерю чувства сыновней сопричастности к тому великому и скорбному, что мы именуем Россией. Но становится еще больнее, когда видишь, что каток национального обезличивания сравнял под одно все некогда богатое, радужное разнотравье народной жизни. Как много стало нас, значащихся русскими лишь по паспорту, с единым для всех нас убийственным нечувствием к суровой красоте нашего прошлого, к разору, учиненному уже на наших глазах; нас, неспособных по своей бескрылости к помыслам о возрождении нашего национально-духовного достояния.

И вот только теперь, когда совсем худо нам стало, мы при виде родного пепелища опамятавались, поняли, что пришло время собирать камни для созидания, что пора нам, подобно блудному сыну, направить отяжелевшие наши стопы в сторону отчего дома.

Таков и я. Чтобы обрести для себя Россию и полюбить ее, теперь уже навсегда, мне пришлось пройти через чистилище политлагеря, где у меня открылись глаза на собственную космополитичную тусклость, и потянуло, как больную собаку, к целебным травам родной мне русской почвы.

В цикле "Пленение", написанном в лагерной зоне, в выстраданной поэтической скрутке сплелись воедино

любовь к родной земле и богоданной женщине, жгучая тоска узилища и крошечный лампадный огонек надежды. И, наконец, истовая сопричастность высокому строю дум и чувствований, которыми отмечен крестный путь Руси, ее Голгофа и ее неминуемое воскресение.

"ПЛЕНЕНИЕ"

1. Беда

Так трудно начался пресветлый октябрь,
Тебя подаривший варяжскому сыну.
Княжна милоликая, ты не повинна,
Что озими нежные в поле прозябли
И жизнь раскололась на две половины.

Княжна, утешенье мое и надежда,
Взметни свою белую руку к поводьям.
Зловещи над Клязьмой заката разводы,
В крови и прубах на милом одежде,
И ладо твое печенегу уводят.

Гривастых коней неудержная стая
Любовь и отвагу над степью проносят,
От топота ломятся в зарослях лоси;
Слезам и росам пыль прибывая,
Торопит погоню союзница осень.

2. Заточенье

По рукам и ногам - кандалы неподъемные,
Стены силятся вспомнить закатные блики.
Твои губы в улыбке, до любви неумные,
Сиротеющей ночью заходятся в крике.

А снаружи, к стенам, распокрытая осень,
Обласкавши подножья родных мне осин,
Паутину земли святорусской приносит
И заплаканных глаз твоих кроткую синь.

Тихих улочек наших расписные покои
До зазимков роднит листопадная гладь,
Но все золото их той монетки не стоит,
Что к ногам твоим стройным
тусклой решкой легла.

Как же мне совладать с этой жгучей тоской,
До безумного крена терзающей парус?
Все прошито разлуки железной иглой,
И мне целую вечность стонать
и пластаться на нарах.

3. Зов

Перекасти то поле дикое венком,
Взметнись на крик мой тошный

серой утицей.

Не допусти полжизни пролежать ничком,
Но дай себя обнять, сгореть
и враз отмучиться.

4. Тоска

Мне б камнем разбиться
И, в пыль обратясь,
К тебе устремиться,
Чтоб вдруг, в одночасье
Ничтожной пылинкой,
Крупницей любви
В слезинке скатиться
На щеки твои.
И в слезном сияньи
Стоцветным алмазом
Тоску расставанья
Рассечь одним разом!

5.

На краю моей дремной земли,
Где-то близ Покрова-на-Нерли,
Ты мне видишься малой росинкой,
Той еще не просохшей слезинкой,
Что в печали Господь обронил.

6. Путь

Ты прости меня, ты прости,
Что иду к тебе долго и трудно:
По мостам разметали настил,
Обобрала ватага приبلудная
И цыган за коня не скостил.

Ты прости, что тебя к Покрову
Не утешу неожиданным приездом,
Дней твоих безотрадных канву,
Порасцвеченных слабой надеждой,
Я владычной рукой не прерву.

Ты прости меня, ты прости,
Что твое одинокое ложе,
Где давно уже жар мой остыл,
На холодную келью похоже
И подняться к молитве нет сил.

Но поверь мне, что ты, только ты,
Моих радостей грустная вестница,
Там, за далью последней версты,
Душу рвущей лампадкою светишься
И мои воскрешаешь мечты.

7. Молитва

Сохрани ее, Боже, в затишье лесов
От всечасных набегов нерадостных мыслей,
В утешительных снах дни разлуки исчисли
И укрой за стеною молитв и постов.

И я верю, Ты, Господи, аще восхочешь,
Над ее головой станешь радугой светов,
Херувимским распевом брусничного лета, -
И тогда горечь слез ее синь не источит.

8.

Твой светлый лик хранит иносказанья
Владимирской далекой старины,
Как рукопись с утраченным названьем,
Как сладкий дым родимой стороны.

И по дороге к Сергиевой Лавре,
Вбирая сосен благостный покой,
Я видел, как закатами прославлен
Неизгладимо русский облик твой.

В постылости греховного плененья,
В разладе между жизнью и мечтой
Останется нездешним утешеньем
Неопалимо русский образ твой.

+++

Четыре стены, снегопад за окном,
Покорного времени долготерпенье.
Но нет моей девочки, и не дано
Наполнить минуты ее прославленьем.

Печально белеет раскрытая книга,
Вчерашнее платье, как отсвет виденья
Того несказанно счастливого мига,
Что встарь называли Святым единеньем.

Когда в твоих милых славянских чертах,
Как фреска, проступит забытая вера,
Я вижу Владимир, ворон на крестах,
Печаль неизбывную осени серой.

Лицом зарываясь в льняные потоки,
Сжимая в объятьях нетленное тело,
Я чувствую, близятся вещие сроки
Исконно-великого русского дела.

В воскрыльях бровей над зарницами глаз,
В цветке твоих губ с поцелуйною влагой
Сокрыта исконная, не напоказ,
Бессмертной Руси красота и отвага

+++

Предречена минута,
Когда, под медный бой,
Раздетым и разум
Предстану пред тобой.

В семи шагах от плахи
За миг перед концом
К застиранной рубахе
Ты припадёшь лицом.

В красе простоволосой,
Иконно и доподлинно
Ты перед тьмой откоса
Мне ангела напомнишь.

Виденья не нарушит
Взлетающий топор,
И примет мою душу
Всеангельский собор.

+++

В селе Коломенском – нарядная трава,
В апрельской синеве белеют стены храмов,
Бьет колокол, стареют деревья,
Линяют титулы в грамоте охранной.

В селе Коломенском мы у себя, мы дома.
Нам русская святая старина,
Как боль, сладка и как мечта издонна,
На прахе прадедов она утверждена.

В селе Коломенском, где церковь Вознесенья
Хранит от вандалов московский окоём,
Ей на подмогу, ради сбереженья
Исконных истин мы с тобой живем.

Живем, как сироты, случайным подаяньем,
В печали, в радости - всегда к виску виском.
Господь лишь знает, может, не случайно
Приветил ангел нас улыбчивым лицом.

ЗЕМЛЯ ОТЦОВ

Прикажи умереть -
И я вскину в готовности голову,
Дай лишь мне досмотреть,
Как судьбина поделит нам поровну

Тот ненайденный клад
Непридуманной сказочной жизни,
Где, не мят и не клят,
Я живу в возрожденной Отчизне.

Там синеют снега,
Хорошеют резьбою деревни,
Там, блажен, наугад
Я бреду по прекрасной и древней

Среднерусской равнине,
Что в окладе мещерских лесов
Испокон и доньне
Почтена как основа основ.

Пусть узорные церкви
Собирают воскресший народ.
Да вовек не померкнет
Над тобой голубой небосвод!
И тогда, не простясь,
Просиявши счастливым лицом,
Я верну свою часть
Ради сказки с хорошим концом.

IV. "ГОСПОДЬ МОЙ, БЕССМЕРТНЫЙ И КРЕПКИЙ..."

Оглядываясь назад, в прошлое свое, я с благодарными слезами вижу и сознаю, что во всех, часто невообразимых жизненных перипетиях меня постоянно вела спасающая рука Господня. Где бы был я теперь в безбожном своем хождении по жизни? Что случилось бы со мной, если бы однажды, милостью Его, мне не открылся таящийся под серыми пеленами неверия солнечно-ясный смысл бытия?! Неужели я мог, обреченный на одиночество среди ожесточенной борьбы эгоизмов, лишиться сладостного общения с Его любвеобилием, всеотзывчивостью и состраданием? Не познав Бога, я так никогда бы и не узнал, как ни бился бы над этим, сокровенный смысл и назначение моего пребывания на земле.

Откуда, кроме Священного Писания, я исполнился бы ведением о начале и конце нашего земного существования? Мне открылось, что по страницам вселенской истории красной нитью проходит вековечная борьба добра и зла, в которой Бог всемогущий имеет единственное средство, чтобы обратить нас от тьмы к свету, от смерти к жизни, - этим средством была и остается неизбывная любовь Божия к нам. И только наш отклик на нее решает дело нашего спасения. Ради этого предвечный Бог перед всей Вселенной, перед каждым из нас явил потрясающее по своей убеждающей силе доказательство

Своей любви к нам, отпавшим детям Своим. Он сделал это для того, чтобы мы, слепо доверяющие кому угодно, но только не нашему Спасителю, повернули головы свои к Голгофскому Кресту и, плененные жертвенной любовью Сына Божия, всецело и навсегда доверились бы Христу, Которому мы воистину нужны и бесконечно дороги.

*Не видел того глаз, не слышало того ухо,
и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим его
(Из Послания ап. Павла к Коринфянам, 2: 9)*

Не печалься, милый человек,
О напастях, горестях, о доле.
Голубое небо боли лечит,
Травы прорастают Божьей волей.

Видит глаз свечение созвездий,
Слышит ухо плеск ночного моря,
Но никто не ведает на свете,
Что Господь для верных приготовил.

Там Христа не поведут к ответу,
На пророков рук там не наложат.
Словно вечер ласкового лета,
Тих приют божественных подножий.

И только гимнов млечное струенье,
Только даль немеркнущего света,
Да хвалы познавших воскресенье,
Да любовь Создателя Завета!

МОИСЕЙ

Он не дошёл по той земли заветной,
До светлых её рек и солнечных дубрав –
Гнетущий груз греха и путь сорокалетний
Смежил ему глаза в чужой стране Моав.

Остались позади жара и пот Египта,
Зловещий свист бичей, моление и страх,
А впереди - она, как чаша неотпитая,
Манила и влекла земля цветов и трав.

Он видел Божий лик и гнев Его разящий,
Синяя дивный свет и ангелов крыла,
Но среди тьмы пустынь, сомнений и несчастий
Она ему звездой сияющей была.

Теперь лежать ему в сырой земле чужбины:
Ни камень, ни плита не скажут, где тот прах.
И вот в последний раз, как песня лебединая,
К престолу горнему молитва полилась.

И внял ему опять Творец и Бог Единый,
И бранный прах его на небеса подъял,

Чтоб верный раб Его, страдавший неповинно,
Отчизны истинной покой и мир узнал.

*Храму
Сергия Радонежского
посвящается.*

Ветров осеннее приволье
Разрушенный ласкает храм.
Их древних песен мне довольно,
Чтоб в душу привнести бедлам
Тоски, прозрений, тихой боли,
Век расчертивших пополам.

Перекошенными крестами
Горюет небо над землей,
Забыто вечное: «Бог с нами!»
А с ним – врачующий покой
Лампад, иконок в полураме,
Паникадил над головой.

Утеряны ключи от рая
Поклонов, ектений, молитв,
В свечном огарке утопая,
Фитиль смиренья чуть горит, -
И, века совесть обнажая,
Собор поруганный стоит.

+++

По дороге в Загорск
Всё сохранней и чище снега,
Март о лете с трудом вспоминает.
Только синь поднебесная
Благостно тает,
Дабы свет наших душ
Навсегда не угас.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Опять на святцах - русская весна.
И снова Ты, оставив Вифсаиду,
Идешь туда, где, выместив обиду,
Тебя собьет глумливая волна.

Но, Господи, отныне и навеки
К подножью вознесенного креста
Березы юные, творя святой устав,
Печально клонят шелковые ветви.

И малых рек студеная водица,
Все слезы непросохшие вобрав,
Смешав их с горечью пасхальных трав,
Тебя зовет на землю возвратиться.

Чтоб навсегда, животворя творенье,
Превозмогая запустенья срам,
Вознесся к небу бело-синий храм
Пресветлого Христова Воскресенья!

V. ЛИРИЗМ ДУШИ НЕИСТОЩИМЫЙ.

Продолжая вечную, как мир, тему любви, прилагаю некоторые из своих стихов, проникнутых лиризмом общего всем нам чувства.

КАТЕРИНЕ

Как лебедь белая — царевна среди птиц,
Рассветная звезда - княжна ночных свиданий,
Так ты из тех небесных голубиц,
Что жизнь однажды нам на счастье дарит.
Своих зрачков агатовых мерцанье
Ты гасишь детскою стыдливостью ресниц,
Но свет твоих бесчисленных деяний
Разлит на каждой из моих страниц.
Как богоданную величу я тебя,
И сладок мед твоих обетовании,
Когда, терпя, немотствуя, любя,
Ты наполнишь дни моих земных скитаний.

+++

Туда, где в старые следы
Упали листья кленов,
Где в переулках, шепчешь ты
Сосулек тихим звоном,
Где на изморозь карнизов,
Как февральский синий наст,
Искрится печально снизу
Полнолуние твоих глаз.

+++

Ты осчастливила меня своим лицом
Старинной, удивительной работы,
И, осененный, я вдруг понял, кто ты!
Замкнулись дни всерадостным кольцом,
И в пушкинский октябрь вошли мы под венцом.
Теперь апрель, его зеленый дым
Клубится по весенним палисадам.
И мне от жизни ничего не надо —
Лишь только нежить дни теплом твоим
И с любящим твоим встречаться взглядом.

+++

Вся непостижная Москва
Струилась дивным хороводом,
Кружили голову слова,
Дух возносившие под своды.

Был тих февраль, как никогда,
И вместо сретенских метелей
Шептали сонно провода
Молитвы теплые капелей.

И ты, танцующе-стройна,
Шла припорошенным бульваром,
А мной владела мысль одна:
«И это мне досталось даром!»

+++

Родная алость губ твоих, дарящих
Сладчайший оползень полночных поцелуев,
Нетленной розой на лице твоём ликует
И флейтою поет во след звезде летящей.

По-царски щедро ты мне завещала
Наследье взглядов, слов, прикосновений,
И пламень обольстительных коленей,
И к вечной страсти восходящие начала.

Всесилью времени вовек не свергнуть
Самодержавье глаз твоих влюбленных,
К губам моим ладоней поднесенных,
Хранящих нежность предпасхальной вербы.

+++

Ты прошепчи, — не крикни — я приду
И поддержу огонь, что на исходе.
Ты видишь: осень клином ввысь уходит,
И жить начертано нам на роду.
Изнемогают скорбные ладони
От прежней нежности прикосновений,
Волос и глаз твоих столпотворенье
Мне душу потрясли, как крик погони.
...Но безвозвратны даты упоений,
И ветер по свету листву сырую гонит.

Отсчитывая дни до твоего приезда, я то и дело начинаю вычерчивать циркулем памяти события, казалось бы, совсем недавнего, но теперь такого чарующе невозможного прошлого...

Вечер нашего первого приезда в тихий город твоего детства. Полные паруса нежности к тебе, умиротворяющий интим нашей маленькой крепости с заигранной пластинкой Окуджавы и покупной черешней в хрустальной вазой на столе.

Теперь всё это до слезной сдавленности невозможно и недостижимо, но оно начало свою бессмертную жизнь в нетленном нашем прошлом.

За безмерное счастье почел бы я теперь лишь

прикоснуться губами к чаши изведенного там счастья!.. А мед тех возносящих минут, которые засветились, заиграли бликами безудержной, до поры скрываемой, любви моей.

Чудо моё! Как в дивных волосах твоих переплелись русые и светлые пряди, так переплелись в горячечных токах моего бытия неожиданные и негаданные дары чудотворящей любви твоей!

Может быть, завтра, в это время приездом твоим, свечением глаз твоих начнется круговорот моего к тебе очарования... А пока мне остаётся сладкая мука ожидания.

А как сокровенно дорог и мил стал мне этот твой город, который навеки запечатлен и тайно храним в анналах моей души.

(Из письма)

ОЖИДАНИЕ

От среды до среды в ожиданье тебя
Отлагаются дни напряжённым гекзаметром.

Всякий раз накануне, больной, вне себя
От безудержной дрожи, предел перейдя,
Я при стуке твоём рабски падаю замертво.

+++

Я жду тебя, медлительный июнь.
Ты явишь чудо, рано или поздно,
И в тихих днях твоих проступит грандиозность
Разлукой тронутых вселенских струн.

Неспешных вечеров засветится свеча,
Ушедших радостей припоминанье,
И дивное, не знавшее названья,
Слиянье двух измученных начал.

ИЗ ПИСЬМА

Ах, если б можно было вернуть
Круженье той июньской карусели
Теперь, когда деревья облетели
И предстоит нам зиму пережить.

Здесь так тоскливы ранние потёмки,
Так непостижна общая судьба;
И только прошлого узорная резьба
Дарит тепло завещанной иконки.

+++

От далекой железной дороги
По ночам обмирающей музыкой,
Августовским костром под треногой,
Цветом платица, в талии узеньким,
Настигает, дробится и тает
Твоих слез позолота святая.

+++

Журавлю перебили крыло,
Кареглазый, худой, неповинный,
Он с тоскою смотрел, как несло
Сине небо его половину,

Как владел властелин окоем
Ее тонко очерченным телом,
А она не могла и не смела,
Отстранясь, настоять на своем.

Вот и я в казематах больницы
Без тебя, без покоя и власти,
Лбом к виску твоему прислониться
Здесь почел бы за высшее счастье.

А в осенних туманах земли,
Как в безлунном саду хризантема,
Вечно грустной скрипичной темой
Дрогнешь ты в ожиданье зари.

+++

Поволокой пасмурного неба,
Предосенним сереньким литьем
Я казним за то, что еще не было,
И за то, что поросло быльем.

Цвет опадший к жизни возвращая,
Поступаясь золотой порой,
Я, как клен сентябрьский, облетаю
В незапамятный июльский зной.

Точно мальчик, выпустивший руку,
Я рыдаю, сдавленный толпой.
Ты рванись на жалобные звуки,
Зацелуй, заплачь, закрой собой.

ЧИТАЯ ДАНТЕ

От невозможности свести концы
В крошечных сроках ожидания
Тускнеют брачные венцы,
Слабеют клятвы и признанья.

Но, прекословя безразличью,
На тлен взирающему тупо,
Данте восхитил Беатриче
Из мрака смерти неотступной.

Как долговечен краткий миг –
Награда трепетному чувству –
Вознесший мыслящий тростник
Под своды вечного искусства.

Над будничным чертополохом
Цветет старинным изразцом
Потупленное с детским вздохом
Её прелестное лицо.

ПРОЩАНЬЕ

Последние слова, колес вагонных скрип,
Дрожащих губ кричащее молчанье.
Как смертник ко кресту я к ним приник,
Чтоб твердо и светло принять колесованье.

Вагон пошел, руки прощальный стяг
Усталым голубем трепещет и белеет,
Комок растет и подступает так,
Что криком душит и слезой синеет.

Девочка моя, веточка моя тонкая, душой своей я пытаюсь отыскать тебя в недоступном пространстве, в памяти своей, вопреки холоду забвения. Как в детстве я отогреваю на морозном стекле памяти темно-влажный кружочек, через который живыми и влекущими предстают несказанно счастливые мгновения нашей общей жизни. Это та жизнь, которая там, в веках, в сплетениях родословий, как корни единого русского древа, сблизило и сроднило наши судьбы. Вот отчего теперь я не могу оторваться от твоей светлой сути, от не покидающего меня ощущения изначального нашего неизъяснимого сродства в ощущениях, мыслях и понятиях...

...Поверь, это только в пространстве мы порознь, но во мне и вне меня всё заполнено радужным светом твоего лучисто-милого существования.

Перед окном цветет жасмин - теперь уже душистый знак того незабвенного июньского вечера. Как неопишимо желанны твои прохладные губы, твоё счастливое обмирание в моих объятиях...

Девочка моя! Мне ничего, ничего не надо, только бы неотрывно смотреть в твои зажжённые любовью глаза, упиваться изначальной детской красотой твоего лица и полниться блаженной радостью твоего присутствия. Возможно, завтра мы увидимся. Я жду этого, надеюсь и верю.

(Из письма)

ЛАГЕРНОЕ СВИДАНИЕ

Я жду тебя в наскучивших стенах.
А где-то там, в пространстве октября,
Как птица райская, преодолевая страх,
Взлетаешь ты на зов государя.

В холодном небе, просекая дымку,
Грустящую над Суздальской землёй,
Ты грезишь комнатой, где под пластинку
Я обмирал, склоняясь над тобой.

В твоём лице, потерянном от счастья,
В славянских льнах разбросанных волос
Губами жаркими я познавал согласие
Бессмертья и конца, шипов и роз.

И уступала ночь круговращению
Объятий, шёпота, изнемождённых поз...
А за окном по злему наущенью
Бледнел разлукою предутренний мороз.

ПРОГУЛКА В ОДИНОЧЕСТВЕ

Вселенское соитие снегопада
Полночное свершает колдовство,
Но взгляд твой не мерцает рядом,
И нет его согласия на то,
Чтоб сеяло снежинок мириады
Все дарящего неба решето.

И этот мир, однажды поделенный
На вызов мой и жертвенность твою,
Живет в великолепье обреченном,
Как первый человек в желтеющем раю
Но бесконечно дорог он влюбленным,
Вкусившим плод у бездны на краю.

+++

Пластинка русского романса,
Звуча всё тише и нежней,
Удушьем сладостного транса
Мне воскресила мир теней,

Где канделябров стройных свет,
Трюмо, запястья, мягкий плед.

Но зеркало души, изломом
Творя всечасный произвол,
В тебе, счастливо зацелованной,
Воссоздало тот ореол,

Что детской хрупкостью плечей
Рождал восторг моих речей.
Там, в старорусском городке,
В холодной маминой квартире,
Как в веке том, щека к щеке
Под эти звуки мы царили.

Тех ласк безудержных всевласть
Теперь я называю счастьем.

Пресекая пространство ясного мартовского дня, через оголённую серость лесов, сырость половодных лощин, через промельк платформ, столбов по обочине – туда, к ней, чтобы разом, как вкопанному, остановиться перед знакомым до боли, но неизменно новым откровением её распахнуто-радостных глаз, детским в своём свечении лицом, тающей скороговоркой губ – и сказать: «Наконец-то!..»

(Из письма)

+++

Та ночь холодности и ласк,
Посланий, слез и обретений,
Твоих победоносных глаз,
Ночь наших брачных средостений -
Нам подарила век и миг
И камень муки - сердолик.

+++

Недолго мне уже осталось, -
Не веря собственным глазам, -
Читать влюбленно, по слогам,
Про губ твоих родную алость,
Про снегопады и улыбки
Под звуки плачущие скрипки.

И скоро нам с тобой придется,
Пригубив горечей бокал,
Признать, что каждый потерял
То, что однажды лишь дается –
Часов свиданий нежный бой,
Даривших счастьем и судьбой.

РАЗРЫВ

Снежинки марта запоздало
Темнеющий крахмалят снег, -
Прощальный жест зимы усталой,
Без всяких видов на успех.

Азарт летящей электрички,
Сквозной унылый березняк;
И милой девочки моей светличье,
И память грустная по отзвеневшим дням.

Что так легко произносилось,
Что влагой застилало взгляд,
Влекло, пленяло, возносило, -
Все обратилось в тлен, в распад.
И слабых рук твоих сплетенья,
И губ целуемых дурман,
Моих восторгов песнопенья, -
Все скрыл невидящий туман.

Но в мгlistой дали отчужденья
Мерцает кованой звездой
Превозмогающий забвенье
Иконописный образ твой.

НА РАЗЛУКУ

На закате по осени, близость беды
Ощутима в расплаве ноябрьского неба:
Так черно проступили босые следы
Твоего легконогого майского бега.

Только голос пластинки наивно-лучист,
Да бессмертны Владимира крестные главы.
А в немислимом прошлом сияюще-чист
Огонёк восковой закатившейся славы.

ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ

На рассвете ты тайно к нему поспешишь
Через город глухой к обещаньям вокзала,
Вопреки оговорам, чтобы там ни сказали,
Светлой мужней женой ты пред ним предстоишь.

Столбовая дорога былинно длинна,
Но сладки и коротки часы ожидания,
Позабудется напрочь тоска прозябанья,
И расступится разом запретов стена.

Ты увидишь его, одного среди чужих,
Ты замрешь, на мгновенье глаза прикрывая,
Чтобы дивная вспышка запретного рая
Возвратила навек жар объятий двоих.

Девочка моя ясноглазая!

Я ещё в дороге, в дороге от тебя, такой грустной
дороге...

Эти два дня, такие свежие, как первая сирень,
открыли нам ту бездну счастья, каким мы с тобой владеем.
Ты – мой солнечный лучик, моя молодая травка, суженая
мне от века, свет преображения моего.

Ты одна способна наполнить меня тихой радостью.
Твоя легкая походка всегда несет тебя, моё лебяжье
пёрышко, навстречу мне. Твои руки, заплёстнутые на моей
шее, заставляют меня обмирать от нежности к тебе.

Я всё люблю в тебе! Твоё хрупкое и хрустально-
светлое обличье девочки-восьмиклассницы. Твои ласковые,
тёплые губёшки. Люблю, когда ты улыбаешься, люблю
твой серебряный смех, струение твоих дивных волос на
голые плечи.

Всё это было в тех двух днях любви, задыхания,
грусти и восторгов.

Спасибо тебе за них.

(Из письма)

СНОВА ВМЕСТЕ

В ожиданье заветного дня
Разверзаются хляби души,
Чтобы, мукой тоски изойдя,
Ее разом до дна осушить.

Ты голубкой слетишь на ковчег,
Обессилевшей в поисках тверди.
Как прекрасен совместный ночлег,
Ты подобна Рахили, поверь мне.

Маяту семилетнего срока,
Как кувшин, на плече ты несёшь,
В упоительном рабстве зорока
Неослабной надеждой живёшь.

Расплескав по плечам свои волосы,
Просветлённым сияя лицом,
Ты промолвишь чуть дрогнувшим голосом:
-Я живу, лишь пока мы вдвоём.

+++

На удивленье мягкая пороша
Твой легкий замедляет шаг,
И, пудря след твоих девичьих ножек,
Парит над городом ее белесый стяг.

Из-под бордовых складок капюшона
Венециановский светлеет лик.
Как из картины, в прелести исконной,
Он средь порталов каменных возник.

И нет ему подобных в галерее,
Открывшейся для глаз моих.
Любя, благоговая и немея,
Я припадаю к следу ног твоих.

ЗАКЛЯТЬЕ

Руки твоей не выпуская
В надежде душу отогреть,
Я к ней губами припадаю
С одним заклятьем: "Не посметь
Ударить мстительным кимвалом
В твою истерзанную медь!"

+++

Несется солнце за вагоном,
Едва-едва не догоняя,
Ядром закатно-обреченным
Лесок продрогший просекая.

...Так нам с тобою не поднять
Судьбой оброненные перья
И жизни новой не начать
Исходом в счастье и веселье.

Но есть от века утешенье,
Гласящее и нам с тобой:
«Алмаз любовного мученья
Не покрывается золой».

+++

Четыре стены, снегопад за окном,
Покорного времени долготерпенье.
Но нет моей девочки, и не дано
Наполнить минуты ее прославленьем.

Печально белеет раскрытая книга,
Вчерашнее платье, как отсвет виденья
Того несказанно счастливого мига,
Что встарь называли Святым единеньем.

Когда в твоих милых славянских чертах,
Как фреска, проступит забытая вера,
Я вижу Владимир, ворон на крестах,
Печаль неизбывную осени серой.

В воскрыльях бровей над зарницами глаз,
В цветке твоих губ с поцелуйною влагой
Сокрыта исконная, не напоказ,
Бессмертной Руси красота и отвага.

+++

Ты остаешься, девочка моя,
Ты почему-то вечно остаешься
Хрустально-хрупкой осью бытия
И за глаза ты веточкой зовешься...

А в днях моих, поверь, цветет она –
Та несказанно юная весна.